



Блеск тоскливый мартовского ледка
вольнoлюбца с ходу уводит вбок.
Твердь кругом рассыпчата и легка
и прозрачней воздуха, видит бог.

В порошок стирается ледяной
под лихими подошвами храбреца.
И ничто никак ничему виной —
всюду только пройденного пыльца.

На ветру раскручивается, искрясь,
по сетчатке чертит бог знает что
позднeзимняя пелена и грязь,
изжитого времени решето.

Наконец-то с ним разошлись пути —
только сеется ветровой снежок,
безобидный и никакой почти —
где он, прошлого холодной ожог.

Вся тоска лукава и такова,
что обратным зреньем слепца дарит.
Не болит бедовая голова,
если снова путь в никуда открыт.



Снег по апрелю и маю.
Лета не будет у нас.
Только одно понимаю —
этот запомнится раз.

Частые эти налеты
в дальний район до утра.
Не загружайся — ну что ты —
с чувством глядеть во вчера.

Словно в стеклянную колбу
заключены времена —
благо резвиться глаголу
в отблеске склянки сполна.

Силиться в область цветений
выбраться через стекло.
Снежные вихри и тени —
эко к весне занесло.

Ломкая наледь сезона.
Злой климатический бред.
Блазнится солнце спросонок —
скоро сто лет как в обед.

Вот обурела природа
сны и значенья плести —
год беспощадней от года
ветер сквозит до кости.



Картофель на стол подает квартирантка.
Не правда ли, слишком кусаются цены?
Но прежде — о хокку,
а после — о танка.

Конфузливый выговор.
Короткие сцены.
Ведь их неспроста приберег напоследок
Окраинный день в затянувшемся действе
Смурного театрлика марионеток,
Сулящего сказку с оскоминой вместе.

По частному сектору стелется лето
И силится не оставаться за скобкой
Непреодолимого сходства предмета
С ветвящейся тенью и дудочкой робкой.

Ах, как безошибочно август угадан!
Хотя еще только июнь на излете.
Но дело не в гордом дыханье на ладан,
А в странном прощанье на праздничной ноте,

В какой-то причудливой дальней усмешке
По легкой касательной к соединенью
Приманки романа, поста сладкоежки,
Просторного чтения, близкого к пенью.

На запах забвенья,
 подгнившей террасы,
Невольной аскезы,
 вольготной теплыни
Летят, оставляя небесные трассы,
Раскосые призраки, званные ныне.

Листва распласталась в стекольном овале
Узорчатой рамы с облупленным лаком.
Зеленым отливом струится аварэ
По грудам газет и хозяйственным бакам.

А голос над книгою выше и глуше.
А строки окутаны воздухом спертым
И речитативом усадебной глуши
В тугой унисон с лебедой и апортом.

И кроны заходятся сабельным блеском
На пухлом бедре накренившейся тучи.
В цитатной волне и молчании веском
Блаженно купается пламень летучий.

То прянет,
 то вынырнет в матовом блике,
Не жалуя смерть
 и о жизни не горясь,
Как будто безоблачно равновелики
Упругий побег, обожанье и голос.

И всюду соседствуют соль воплощенья
И укус ухода, разбавленный светом,
Как будто бессрочный залог возвращенья
До первого зова покоится в этом.



Дробный пригород дремлет лицом к стене
леса, вросшего в окаменевший ил,
до которого дождь по ночной стерне
прошумит в два счета среди могил.

Он минует балку, жнивье, погост
и пронизет стену добра и зла,
души мхов, лощин, корневых корост,
отмывая истоиво догола.

Ил залижет раны иных времен,
поплывут стволы под откос воды.
Круговым бессмертием окаймлен,
прах запрячет в топях свои следы.

Будут кроны страшно ходить во тьме
и чертить на воздухе письма
о суме, безумии и тюрьме
по окрестным весям слепого сна.



линяет лето без оглядки
с похолоданья взятки гладки
тепло под свежим сургучом
переговоров ни о чем
эмэйлы скайпы перезвоны
слова на ветер сетевой
ведь абонент уже вне зоны
вчерашней дружбы с головой

и паузы неудержимо
ненастье множит без нажима
дожди навзрыд ветра вразлет
и все известно наперед
вестимо, что за черной тучей
всегда для будущего есть
забвенья обморок летучий
равно прощение и месть

так говорил писатель старый
пока народ брэнчал гитарой
ховал в кладовке самиздат
кругом нетрезв и бородат
от спорадической теплыни
изжога спазмы миозит
не проходящие доньне
все из минувшего сквозит

приходит осень тихой сапой
вино на платъице не капай
и сигареткой не части
теперь воздержанность в чести

не вспоминай и пьялся в оба
и трубку вовремя клади
на плечи долгого озноба
что пламенеет впереди

мой ясноглазый летний кореш
с обрывом связи не поспоришь
как прошлым душу ни криви
сургуч сгущается в крови
по зодиаку лев и овен
с небес спускаются к зиме
ни в чем провайдер невиновен
там только прибыль на уме



Просыпаясь от взгляда догадливых белых крыс
сквозь воздушную сетку вивария прежних дней —
перепад давления сосудистый ли каприз —
видишь то, что издали светит тебе видней.
Парк, где раньше блестел брусчаткой кадетский плац,
у закрытого тира мороженое с лотка,
тополиная ржавчина, поздний накал тепла,
транспарант про дело, которому жить века,
прямо перед окном, где будущий эскулап
со своей спиртовой колдует и в перерыв.
То анофелес в рост, то рефлекс лягушачьих лап,
то настенный перечень всех земноводных, рыб,
знай себе, проносятся по зрачку
в световом пучке без времени и слезы.
Лишь кукушка на кухне налаживает «ку-ку»,
на пружине в те же входя пазы,
как хвостист в исхоженный коридор —
дрожь по коже — все гаже идут дела.
Шалый луч прожектора, зряшная жизнь, позор —
стерлись зубы закусывать удила.
По причине утери численника число,
год и месяц стопорятся в ночи.
Микроскоп, часовая стрелка — очнись, алло,
на рябом стекле истекшее различи.
Что же лучше, чем молча глядеть в трубу,
забавляясь тумблером, медленно забывать
и соседа слева последующую судьбу,
и привычку той, что справа, не забивать
буйну голову тем, что вытрется габардин,
растеряет префиксы-суффиксы вся латынь,
и с военной выправкой тополь едва ль один
предоктябрьскую убережет теплынь.



Град срывает крышу, крушит чердак,
разрывает прошлое на куски.
Потому как скрепам цена — пятак:
в щепки, в щепки — тело любой доски.

Душу камня — в прожитое ничто
огневым напором гремучих льдин.
И на дне беды, запахнув пальто,
осушая память, стоишь один.

Гром грохочет, прячет в раскатах смех
над простым намереньем жить в дому,
без небесных замыслов и помех
быть себе строителем одному.



Теперь довыдумать сумей-ка
позавчерашнее житье.
И если жизнь, она, копейка,
усмешка, дальняя скамейка,
над голым парком воронье —

нет утешенья и пощады
юнцу с бескостным языком.
О, эти гибельные взгляды!
О, эти приступы бравады!
Я с этим парнем незнаком.

Глубокой осени свеченьем
прошиты холод обложной,
ложбинный пах, портвейн с печеньем,
земля с небесным ополченьем,
прозрачный купол неземной.

Портвейн массандровский — не местный.
День завершается воскресный.
В озерной ряби дерева.
И речь смеркается над бездной.
И смута в омуте жива.

Чернильных вод лещи и щуки
сполна обучены науке
затеплить звездное зерно.
Но над лещинами разлуки
все солнце блазнится одно.



Валере Коренюгину

Апельсиновым лисьим огнем
подрумянен декабрь изнутри.
В предрождественский сумрак нырнем,
и гори оно, друже, гори

шалым пламенем (туже, свежей
извивайся веселый язык,
у твоих и моих виражей)
ясной участи, черной слезы,

бесполезной игры пироги,
карамельная эта печаль.
На какие ни прянешь круги,
горемычного счастья не чай.

Все одно — потому и ничто
(торопливая пыль, кутерьма).
В нашем сумеречном шапито
лишь безумцы не сходят с ума.

Что им фантики, блески, фольга,
фатовские банты, конфетти?
Завертелось — и вся недолга:
не смотри, не смотри, а иди

в темный час, в заколдованный лес,
ведь едва остановимся мы,
и под куполом здешних небес
не отыщут ни света, ни тьмы.



Кончатся вечеру, качаться
вчерашней тени на стене.
Озноб, молчанье домочадца,
улыбка детская во сне.

Плясать, пороги обивая,
ночной метели наугад,
чтоб наша сказка бытовая
предполагала сон и сад,

план заполошного пострела
в сердцах уехать насовсем.

Горит укутанное тело —
и пламень глух, и разум нем.

И раскаленным нетерпеньем
померкший мир заморожен,
предколыбельным беглым пеньем,
калифьей властью, страстью жен,

визиря льстивым мадригалом,
Евфрата мутною водой,
кинжалом тайным, платьем алым,
кунжутом с цедрой молодой.

Идет садовник в недрах сада,
идет свеченье от реки
сквозь переплясы снегопада
и пригородные дымки

в берлогу вирусной дремоты,
в горнило липких одеял,
ведь счастья северные льготы
еще никто не отменял.



Север до заречных заимок
распушил ночные крыла.
От побед в наездах взаимных
вся зима как сажа бела.

Лепота под праздники вроде,
а башка забита быльем
на зачоченевшей природе
в корпусах с казенным бельем.

Здесь в чести чифирь-сигарета —
предрассветный яркий набор.
И занятно видеть до света
кочевые звезды в упор.

Рядом Вакха песни да пляски,
записной Эрот у ворот.
Но гетеры местной закваски
не сулят соплям окорот.

И ни алкогольная кома,
ни крутой восторг во плоти
по прямой наводке профкома
не грозят теплом впереди.

Спозаранку холод во благо!
На губах недолог снежок —
был да сплыл в кашне за два шага —
лишь заварки гложет ожог.

Темнота линована светом.
Берега в морозной пыли.
Свято место пусто, но в этом
все течение здешней земли.



Передают, что там снегопады ныне.
Завалило машины по крыши — стоят кто где.
Вижу, как в приоткрытой смолишь кабине —
«Данхилл» всегда выручал в беде.

Все заросло белизной, затонуло в нетях —
не различить, не вычертить на снегу
марево этих лет, оголтелых историй этих,
эту повадку жить через не могу.

Дорогой никотин — утешитель по всем вопросам —
с лобового в ответ подмигнет невзначай стекла
записная курильщица с профилем вдрызг раскосым,
что привыкла закусывать удила.

Служба спасения в срок расчехлит лопаты
и расчехлостит всех, кто прошлепал с утра прогноз —
сами кругом в проблемах и виноваты —
граждане нынче наружу не кажут нос.

Сожалеешь, согласна двумя руками —
если б не служба, сидела бы на печи
да изучала какого-нибудь Мураками —
русскоязычного в доме ищи-свищи.

И ни звонков, ни скайпов негож излишек —
хватит тянуть бесконечно кота за хвост
и толковать, что в стране дураков и вышек
все нескладуха да гульбище в полный рост.

И не спасет никто от любой засады —
в снежном ли, в ледяном плену —
чем не богаты, тем беспросветно рады.
Не поминайте брошенную страну.



Голубятни тающего города.
Окна слуховые на торцах.
Птичьего предмартовского голода
горловая свежая пыльца.

Пальцы сводит. Кровли водосточные
подставляют мятые бока.
Новости летят ближневосточные,
поражая цель наверняка.

И вразброс все скрипы, лязги, шорохи,
колкая угрюмая капель
в пасмурном свиногриппозном мороке
несколько простуженных недель.

Право дело, видится, как слышится:
в переплеске — волнорез крыла.
Мытарю прописная ижица
лишь вначале буквою была.

Сызмальства раскачивая дворики,
позднезимье, связки разогрев,
обаянье собственной риторики
чует лишь по скрежету дерев.

И одно безлиственное кружево —
вся до капли подать бытия,
чтобы вновь, бедна, но не разрушена,
воскресала азбука твоя.



Снежок нечаянный пасхальный.
Переговоры ни о чем.
Твой ангел, гневный и нахальный,
за левым мечется плечом.

Чем ближе к ночи, тем кромешней
его предпраздничная пруть
категоричностью нездешней
с плеча без усталости рубить.

И накануне воскресенья,
негодования полна,
в честь вероятного спасенья
восходит юная луна.

Ее презрительной подсветкой
курносый профиль окаймлен,
с прищуром злым, с усмешкой едкой,
с неудержимостью гулен.

Чуть не по-ангельски летучи,
черны лукавые черты —
все помрачения да тучи,
а свет сквозит из темноты.

И если все, что накануне
впотьмах катилось кувырком,
предстанет светом, канет втуне —
о чем ты нынче и о ком?

